



Сергей Патрушев

Моя вторая
Сущность

Сергей Патрушев

Моя вторая Сущность

«Автор»

2026

Патрушев С.

Моя вторая Сущность / С. Патрушев — «Автор», 2026

Мир, где золото единственная религия, а человеческая жизнь стоит дешевле шёлкового платья. Слуга из богатого дома годами носит маску покорности, наблюдая за лицемерием аристократов, жестокостью Церкви и коррумпированностью власти, но внутри него спит иная сила — вторая сущность, рождённая из боли, гнева и несправедливости. Когда она пробуждается, герой оказывается вне закона и вынужден бежать. В горном убежище изгоев он учится принимать свою тьму, а не бороться с ней. Впереди — восстание, древние тайны Двуликого Бога и выбор: стать чудовищем или тем, кто изменит мир. Тёмное фэнтези о балансе света и тьмы, о любви как якорю и о свободе, за которую приходится платить кровью.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Запах гнили под позолотой	5
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Сергей Патрушев

Моя вторая Сущность

Глава 1. Запах гнили под позолотой

Столица королевства Вальдхейм встречала каждого, кто въезжал в её пределы, не торжественным звоном колоколов и не радостными криками глашатаев, а тяжелым, влажным, пропитанным испарениями дыханием сточных канав, которые здесь, в этом городе, тщательно и безуспешно пытались замаскировать дорогими благовониями, жженым ладаном и ароматическими маслами, щедро разлитыми по углам парадных залов. Это был город, в котором ослепительный белый мрамор герцогских дворцов, украшенных тонкой резьбой и позолоченными шпилями, уходящими в самое небо, соседствовал с гниющими деревянными мостками бедняцких кварталов, где по утрам находили тела тех, кто не пережил ночь, и где дети копались в отбросах в поисках хотя бы корки заплесневелого хлеба. Вальдхейм был городом контрастов, но контрастов лживых, потому что вся эта кричащая роскошь, всё это показное великолепие, которым так гордилась столица, было лишь тонким слоем сусального золота, наложенным на гниющую, разлагающуюся изнутри сердцевину, и если бы кто-нибудь рискнул ковырнуть эту позолоту ногтем, под ней неизменно обнаружилась бы труха, плесень и бесконечная, всепоглощающая гниль.

Сегодня дом барона фон Штерна, одного из самых влиятельных и состоятельных дворянских семейств столицы, устраивал прием, который хозяйка дома с присущей ей небрежной грацией именovala не иначе как «малым вечером», хотя для того, чтобы накрыть столы на две сотни гостей, украсить залы цветами, доставленными за немислимые деньги из южных провинций, и приготовить дюжину перемен блюд, способных удовлетворить изысканные вкусы столичной аристократии, многочисленная прислуга этого дома не спала трое суток, сбиваясь с ног, и валилась с ног от усталости, но продолжала бегать, подгоняемая окриками дворецкого и страхом перед гневом госпожи. Я стоял у одной из мраморных колонн, увитых гирляндами живых цветов, чей сладковатый аромат смешивался с запахом воска от сотен свечей, в ливрее, расшитой серебряной нитью и столь тесной в плечах, что каждое движение отдавалось тупой болью в лопатках, изображая из себя предмет интерьера, часть декора, нечто среднее между канделябром и напольной вазой, и это было моей работой — быть незаметным, но видеть всё, слышать всё и запоминать всё до мельчайших подробностей.

Моя работа заключалась не в том, чтобы разносить вино и закуски, хотя именно это я делал из вечера в вечер, изо дня в день, с тем выражением почтительного равнодушия, которое было отточено мной до совершенства за годы службы. Моя работа заключалась в том, чтобы быть глазами и ушами тех, кто платил мне за эти глаза и уши, тех, кто оставался в тени, но чьи интересы простирались далеко за пределы этого бального зала, этой усадьбы и, возможно, даже этого королевства. Я запоминал разговоры, случайно оброненные фразы, многозначительные взгляды, которыми обменивались гости, прикрываясь веерами и бокалами, нервные движения пальцев, выдававшие ложь, и слишком натянутые улыбки, за которыми прятались кинжалы, иногда фигуральные, а иногда, как я знал не понаслышке, и вполне реальные, спрятанные в складках камзолов или в тростях с потайными лезвиями.

— Вина, — не оборачиваясь в мою сторону и вообще никак не обозначая, что она заметила мое присутствие, бросила леди Изабелла, супруга барона фон Штерна, не глядя сунув пустой хрустальный бокал в пространство, будучи абсолютно уверенной в том, что найдется кто-то, кто этот бокал подхватит, наполнит и вернет обратно с той скоростью и сноровкой, которых требовал этикет этого дома.

Я сделал ровно два шага вперед, не больше и не меньше, принял хрусталь из её тонких пальцев, унизанных кольцами с бриллиантами и сапфирами, стоившими больше, чем весь квартал, в котором я вырос, и наполнил бокал ровно на две трети, как того требовали правила приличия, не пролив ни капли. Леди Изабелла так и не удостоила меня взглядом, потому что для неё я был не человеком, не личностью, не существом с мыслями, чувствами и собственной волей, а всего лишь функцией, рукой, подносящей напитки, носителем ливреи, элементом обстановки, который можно было заменить в любой момент, как заменяют износившийся ковер или треснувшую вазу.

В зале, освещенном сотнями восковых свечей, чей дрожащий свет отражался в хрустальных подвесках огромных люстр, пахло жареным мясом, приправленным экзотическими специями, привезенными с далеких восточных берегов, дорогими духами на масляной основе, которые здесь, в столице, были показателем статуса и достатка, и едва уловимым, но неизбежным запахом пота, который не могли перебить никакие ароматические свечи, никакие благовония и никакие цветочные гирлянды, потому что человеческое тело всегда остается человеческим телом, сколько бы золота и шелка на него ни навесить. Аристократы улыбались друг другу, обнажая зубы в тех самых светских улыбках, которые были обязательной частью придворного этикета, но улыбки эти были лишь особой формой оскала, потому что под каждой из них прятались кинжалы, ядовитые слова, заговоры, интриги и предательства, готовые вырваться наружу при первой же возможности.

— Вы слышали, маркиз де Лакруа вложил десять тысяч золотых в восточную кампанию? — прошелестел совсем рядом со мной голос графини Вельц, пожилой дамы с лицом, покрытым таким толстым слоем пудры, что оно напоминало посмертную маску, и с глазами, в которых горел тот особый, ни с чем не сравнимый блеск, какой бывает только у людей, одержимых деньгами. — Говорят, король лично благословил его предприятие, а это, знаете ли, дорогого стоит.

— Пф-ф, — её собеседник, толстый барон с перстнями на каждом пальце, с красным лицом и одышкой, небрежно махнул рукой с таким видом, словно речь шла о каких-то жалких медяках, а не о состоянии, которого хватило бы, чтобы прокормить целую провинцию в течение года. — Десять тысяч? Мелочь, дорогая графиня, сущая мелочь. Вот мой кузен, барон фон Раттенберг, вложил тридцать тысяч в работоторговлю. Вот где настоящие деньги, вот где настоящая прибыль. Восток — это, конечно, хорошо, но рабы — это товар, который никогда не падает в цене.

Золото. Оно текло здесь рекой, широкой, полноводной рекой, которая начиналась где-то в грязных рудниках, где за гроши надрывались шахтеры, и вливалась в карманы этих людей, чтобы затем растечься по их счетам, их поместьям, их войнам и их прихотям. О золоте здесь говорили, им дышали, его пили, его вкус ощущался на губах вместе с вином, его блеск отражался в глазах каждого, кто находился в этом зале. В этом мире не было богов в привычном смысле этого слова, не было небесного отца, вззирающего на грешников с высоты, не было святых, к которым можно было бы воззвать в минуту отчаяния, не было храмов, где отпускали бы

грехи, — была только монета, золотая монета с профилем короля, которая была одновременно и храмом, и молитвой, и искуплением, и проклятием. Ради этой монеты предавали отцов и матерей, продавали дочерей и сыновей, травили братьев и сестер, жгли целые деревни и стирали с лица земли целые народы. Золото было единственной религией этого мира, и сегодня я наблюдал её самых преданных, самых истовых адептов, собравшихся в этом зале, чтобы поклониться своему безжалостному божеству.

— Эй, ты! — меня грубо окликнули, вырвав из потока моих размышлений, которые я, впрочем, никогда не позволял себе выдать ни единым мускулом лица.

Я обернулся ровно настолько, насколько требовали приличия, и увидел молодого виконта, на вид лет двадцати, с лицом, не тронутым ни одной мыслью глубже выбора нового камзола или новой лошади, с пухлыми губами, сложенными в капризную гримасу, и с глазами, в которых читалась та особая, свойственная молодым аристократам уверенность в том, что весь мир существует исключительно для их удобства и удовольствия. Он щелкнул пальцами перед моим носом, едва не задев меня по лицу, и этот жест, этот звук, этот пренебрежительный щелчок были оскорбительнее любой пощечины.

— Поднос держи ровнее, деревенщина, — процедил он сквозь зубы, явно рисуясь перед стоявшей рядом с ним юной дамой, которая наблюдала за этой сценой с тем же любопытством, с каким наблюдают за дрессированной обезьянкой на ярмарке. — Вино пролил. Смотреть надо, куда несешь. Вас что, совсем не учат манерам?

Я медленно опустил взгляд на свой поднос. На серебряной поверхности не было ни капли. Вино стояло в бокалах ровно, не расплескавшись ни на миллиметр. Это был не упрек, не замечание, не справедливое нареkanie за действительную оплошность. Это был просто способ самоутвердиться, способ показать себе и, возможно, даме рядом, что он — власть, что он — хозяин жизни, что он может щелкать пальцами перед носом у любого, кто ниже его по рождению, и этот кто-то будет стоять и кланяться, не смея даже поднять глаз.

— Прошу прощения, господин, — я склонил голову ровно настолько, насколько требовал этикет, ни на градус больше, ни на градус меньше, потому что даже в поклоне можно выразить насмешку, если знать, как это делается.

Он не заметил ни дерзости, ни насмешки, ни той холодной, ледяной ярости, которая на мгновение вспыхнула в глубине моих глаз и тут же погасла, поглощенная многолетней выучкой. Такие, как он, не умеют читать по лицам, не умеют замечать того, что происходит у них под носом, потому что их внимание направлено только на самих себя, на свои удовольствия, свои капризы и свои мелкие, ничтожные страсти.

— Бездари, — бросил он своей спутнице достаточно громко, чтобы я услышал, и в голосе его звучало то самодовольство, которое свойственно людям, никогда в жизни не сделавшим ничего полезного. — Дом Штернов совсем не следит за прислугой. Распустили их, совсем распустили. В нашем поместье такого бы выпороли на конюшне при всем честном народе, чтобы другим неповадно было.

Юная дама хихикнула, прикрываясь веером, и бросила на меня быстрый, любопытный взгляд, в котором читалось не сочувствие, а лишь праздное любопытство — как на забавную зверушку, которую сейчас накажут за провинность. Я сохранил каменное выражение лица,

потому что моё дело — слышать, запоминать, докладывать, а ненависть мешает работе, затуманивает разум, заставляет совершать ошибки, а ошибки в моем деле стоят жизни, и не только моей.

Заиграла музыка — струнный квартет, расположившийся на небольшом возвышении в дальнем конце зала, заиграл какую-то изысканную мелодию, которая здесь, в этой обстановке, среди этого блеска и этой роскоши, звучала как насмешка над всем, что происходило за пределами этих стен. Гости закружились в танце, разбившись на пары, и в этом движении было что-то глубоко механическое, что-то неживое, словно передо мной были не люди из плоти и крови, а заводные куклы, часы, заведенные на золотых пружинах, исполняющие одни и те же движения, одни и те же улыбки, одни и те же слова, повторяемые из вечера в вечер, из года в год. Я заметил леди Изабеллу — она танцевала с каким-то молодым офицером, чей мундир был расшит золотыми галунами, а на груди красовались ордена, большинство из которых, вероятно, были куплены, а не заслужены, но глаза её при этом скользили по залу, выискивая кого-то, и в этом скользящем взгляде было что-то хищное, что-то такое, что заставило меня насторожиться.

Затем случилось это.

Мальчик-слуга, совсем ребенок, лет четырнадцати, не больше, по имени Томас, светло-волосый, худой, с вечно испуганными глазами, какие бывают у детей, слишком рано познавших голод, холод и жестокость этого мира, разносил поднос с закусками, торопясь между гостями с той неуклюжей грацией, какая свойственна подросткам, чье тело растет быстрее, чем они успевают к нему привыкнуть. Он торопился, боялся опоздать, боялся вызвать недовольство дворецкого, боялся, что его накажут, что его выгонят, что он снова окажется на улице, где его ждала бы верная смерть от голода или холода.

Леди Изабелла как раз закончила танец и сделала шаг назад, к краю зала, не глядя по сторонам, увлеченная разговором с какой-то пожилой дамой в изумрудах, и весь её вид говорил о том, что она — королева этого вечера, что все здесь существует только для неё и ради неё.

Томас не успел остановиться.

Звон разбитого хрусталя прорезал гул голосов, как нож прорезает масло, и в наступившей вдруг тишине этот звук показался оглушительным, как раскат грома. Крошечный кусочек паштета из гусиной печени, деликатеса, стоившего целое состояние, упал на подол её платья, оставив на нежно-голубом лионском шелке уродливое жирное пятно, и это пятно, этот крошечный кусочек еды, этот нелепый, случайный, ничтожный инцидент стал началом трагедии.

Музыка стихла, оборвавшись на полуноте, словно музыканты тоже почувствовали, что сейчас произойдет нечто ужасное.

В наступившей тишине было слышно, как где-то в дальнем конце зала капает вода из неисправного крана, и этот монотонный, ритмичный звук казался отсчетом последних секунд чьей-то жизни.

Лицо леди Изабеллы не изменилось. Оно осталось таким же прекрасным и холодным, как мраморная маска, как лицо статуи, как лик богини, высеченный из камня, — ни единая мышца не дрогнула, ни единая морщинка не прорезала этот идеальный лоб, ни единая искра

человеческого чувства не промелькнула в этих ледяных голубых глазах. Она медленно, очень медленно повернулась, словно у неё было всё время мира, словно сам мир обязан был ждать, пока она соизволит обратить внимание на случившееся, и посмотрела на мальчика.

Томас уже рухнул на колени, не обращая внимания на осколки хрусталя, впившиеся в его ладони, и из этих порезов текла кровь, смешиваясь на мраморном полу с разлитым вином и крошками паштета, образуя отвратительную, липкую лужу. Он пытался собрать осколки дрожжащими пальцами, и его тонкие, худые руки тряслись так, что ему это почти не удавалось, а из глаз его текли слёзы, оставляя на грязных щеках светлые дорожки.

— Госпожа, простите, умоляю, госпожа, — залепетал он, и голос его срывался, дрожал, ломался, как ломается голос у мальчиков его возраста, и в этом дрожащем голосе было столько животного, первобытного ужаса, столько отчаянной мольбы о пощаде, что даже некоторые гости невольно отводили глаза. — Я не хотел, клянусь, я не хотел, я просто не заметил, госпожа, простите меня, я всё исправлю, я всё отчищу, я...

— Ты испортил моё платье, — сказала она тихо, почти шепотом, и голос её был настолько спокоен, настолько ровен, настолько лишен каких-либо эмоций, что от этого спокойствия веяло таким холодом, таким могильным холодом, что у меня, человека, повидавшего за свою жизнь немало жестокости, по спине пробежала дрожь.

— Я заплачу, госпожа, клянусь, я отработаю, я буду работать день и ночь, я... — мальчик продолжал лепетать, не поднимая головы, и кровь из его порезанных ладоней уже пропитала его ливрею, оставляя на ткани темные, быстро расплзающиеся пятна.

— Заплатишь? — уголок её губ дернулся в подобии улыбки, но это была не улыбка, а лишь её тень, лишь издевательская гримаса, лишь оскал, который был страшнее любого крика. — Ты, щенок из сточной канавы? Ты, отребье, которое подобрали из милости? Это платье стоит больше, чем твоя никчемная жизнь, больше, чем жизнь всей твоей жалкой семейки, больше, чем всё, что ты когда-либо сможешь заработать, даже если будешь вкалывать до конца своих дней без сна и отдыха.

Барон фон Штерн, покрасневшийся, потный, с вытаращенными от волнения глазами, уже спешил к супруге, вытирая пот со лба кружевным платком, который выглядел в его толстых пальцах как-то нелепо и жалко. Гости расступились, образовав круг, как расступаются зеваки вокруг места казни, и в этом круге воцарилась та особая, напряженная тишина, какая бывает перед началом спектакля. Никто не смотрел на мальчика. Все смотрели на леди Изабеллу, предвкушая сцену, потому что скучающая знать обожала сцены, обожала скандалы, обожала наблюдать за чужим унижением и чужой болью, потому что это хоть на время разгоняло ту бесконечную, удушающую скуку, которая была единственным проклятием их существования.

— Дорогая, — начал барон, и голос его дрожал, срывался, ломался, как у человека, который заранее знает, что его слова не будут услышаны, но всё равно должен их произнести, потому что этого требует его положение, его достоинство, его роль хозяина дома, — это всего лишь недоразумение, не стоит портить вечер из-за такого пустяка, слуги уже всё уберут, а мальчишку можно наказать после, когда гости разойдутся...

— Всего лишь? — Изабелла вскинула бровь, и одного этого движения, одного этого холодного, презрительного взгляда оказалось достаточно, чтобы барон сдвинулся на полуслове,

замолчал, отступил назад, растворился в толпе гостей, как будто его и не было. Все в этом доме знали, кто на самом деле правит домом Штернов, кто держит в руках бразды правления, кто решает, кому жить, а кому умирать, и барон, несмотря на весь свой титул, всё своё богатство и всё своё положение, был лишь декорацией, лишь ширмой, лишь марионеткой в руках своей прекрасной и безжалостной супруги.

Леди Изабелла оглядела зал медленным, величественным взглядом, задержавшись на мгновение на мне, и в этом взгляде я прочитал не узнавание, не обращение, не приказ, а лишь равнодушную констатацию моего существования, как констатируют существование предмета мебели, стены, колонны. Мгновение — и она отвернулась, и я снова стал пустым местом, невидимкой, тенью, которой суждено стоять у колонны и молчать.

— Господа, — обратилась она к гостям тем самым светским тоном, которым говорят о погоде, о последних новостях, о меню предстоящего обеда, тем тоном, которым здесь, в этом мире, произносят самые страшные, самые бесчеловечные вещи, — прошу прощения за этот досадный инцидент, который нарушил течение нашего прекрасного вечера. Дом Штернов всегда славился порядком, безупречным порядком, и я не допущу, чтобы эта репутация была разрушена по вине какого-то... отребья.

Она сделала едва заметный жест — всего лишь движение двух пальцев, униженных кольцами, — и из тени, из полумрака, скрывавшего их до этого момента, выступили двое стражников дома, двое здоровенных мужчин с каменными лицами и руками, способными переломать человеку все кости, не изменившись при этом в лице. Они двигались слаженно, как две части одного механизма, и было очевидно, что им не впервой исполнять подобные приказы.

— Взять его, — произнесла леди Изабелла всё тем же ровным, бесцветным голосом, в котором не было ни гнева, ни злости, ни даже удовлетворения, а было лишь холодное, бесконечное, всепоглощающее равнодушие.

— Госпожа! — Томас закричал, забился, задергался в руках стражников, но его тонкие, детские руки, покрытые кровью и шрамами, были вывернуты за спину с такой силой, что я услышал, как хрустнул сустав, и мальчик взвыл от боли. По лицу его снова потекли слёзы, смешиваясь с кровью из порезанной щеки — осколок хрусталя задел его при падении, оставив на коже длинную, рваную рану. — Госпожа, пощадите! У меня мать! Она больна! Она не переживет, если меня выгонят! Госпожа, умоляю, сжальтесь! Я сделаю всё, что угодно! Всё, что прикажете!

— Двадцать плетей на конюшне, — произнесла леди Изабелла, и голос её не дрогнул, не изменился, не выдал ни малейшего признака человеческих чувств, и, помедлив ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы её слова в полной мере дошли до сознания всех присутствующих, добавила с той же ледяной, застывшей на лице улыбкой: — И выгнать. Пусть подышает в канаве, где ему и место.

Двадцать плетей.

Я знал, что для четырнадцатилетнего истощенного мальчика, который и так едва держался на ногах от постоянного недоедания и непосильной работы, двадцать плетей равносильны смертному приговору. После десятой он потеряет сознание, и его худое, изломанное тело повиснет на столбе безжизненной куклой. После пятнадцатой он перестанет дышать, и его

сердце, не выдержав боли и потери крови, остановится навсегда. Двадцать — это казнь, казнь, замаскированная под наказание, убийство, облеченное в форму правосудия, и все в этом зале прекрасно это понимали.

Но никто не протестовал. Ни один из этих благородных господ, ни один из этих благочестивых прихожан золотого храма, ни один из этих людей, которые наверняка по воскресеньям жертвуют монеты на благотворительность и с умилением слушают проповеди о милосердии, не проронил ни слова. Гости уже отворачивались, возвращаясь к своим разговорам о деньгах, о войне, о политике, о новых любовниках и старых долгах, и их лица были так же спокойны, как если бы ничего не произошло, как если бы они только что не стали свидетелями убийства ребенка. Слуги притупили взгляды, торопясь убрать осколки и стереть с пола кровь, чтобы эта кровь не испортила настроения господам, и в их глазах я видел тот же страх, то же понимание, что на месте Томаса мог оказаться любой из них. Музыканты, повинувшись едва заметному кивку дворецкого, заиграли снова — какой-то веселый, разухабистый менуэт, от которого тошнота подкатывала к горлу, и эта музыка, этот радостный перезвон струн, эта праздничная мелодия, звучащая в то время, как где-то на конюшне мальчика забивают до смерти, была самой чудовищной, самой извращенной, самой невыносимой насмешкой над всем, что должно быть свято в этом мире.

Я знал Томаса. Знал его лучше, чем многих других слуг в этом доме, потому что мы часто оказывались рядом за работой, и в те редкие минуты, когда дворецкий не следил за нами, мы иногда перекидывались парой слов. Он был хорошим мальчиком, по-настоящему хорошим, и это не было пустой фразой, не было дежурной характеристикой, которую принято давать умершим, чтобы не говорить о них плохо. Он отдавал половину своего скудного жалования больной матери, которая жила где-то на окраине, в лачуге, продуваемой всеми ветрами, и сам при этом недоедал, пряча в карман черствые корки хлеба, которые ему удавалось стащить с кухни. Он боялся темноты и спал вповалку с другими мальчишками на кухне, на жестких тюфяках, брошенных прямо на каменный пол, и во сне вздрагивал и всхлипывал, как щенок, разлученный с матерью. Он был живым. Он был настоящим. Он был одним из немногих в этом доме, кто ещё не разучился плакать, не разучился надеяться, не разучился верить в то, что мир может быть справедливым.

Теперь его жизнь стоила меньше, чем шелковое платье.

Стражники потащили его к выходу, и его ноги, обутые в стоптанные башмаки, которые были ему велики на два размера, скользили по мраморному полу, оставляя за собой кровавые разводы. Он больше не кричал — только беззвучно рыдал, как плачут дети, когда понимают, что взрослые не помогут, что никто не придет на помощь, что мир, который они считали своим домом, на самом деле был лишь огромной, безжалостной клеткой, из которой нет выхода. И этот беззвучный плач, это содрогание худых плеч, этот взгляд, брошенный им в последний момент на гостей, на этих сытых, довольных, разодетых в шелка и бархат людей, был страшнее любого крика.

Вечер продолжился.

Гости танцевали, пили, ели, сплетничали, смеялись, флиртовали, строили планы, заключали сделки, обсуждали последние новости с фронта и последние слухи из дворца, и ни один из них ни разу больше не вспомнил о мальчике, которого только что увели на смерть. Я стоял у колонны, выпрямив спину и держа поднос с бокалами, и моё лицо было безукоризненно спо-

койным, как и подобает лицу хорошо вышколенного слуги, который за годы службы научился скрывать свои мысли и чувства за непроницаемой маской профессионального равнодушия. Ни одна мышца не дрогнула. Ни один мускул не выдал того, что творилось у меня внутри. Ни одна слеза не скатилась по моей щеке, хотя где-то глубоко, в самой сокровенной части моей души, той части, которую я научился прятать за этой ливреей, за этим поклоном, за этим бесконечным «слушаюсь, госпожа», что-то сжималось в тугой, болезненный, невыносимо тугой узел.

Это была не жалость — жалость была роскошью, которую я не мог себе позволить, непозволительной тратой душевных сил, которые требовались мне для другого. Это была не скорбь — скорбь была чувством, которое я давно научился откладывать на потом, на то самое «потом», которое, возможно, никогда не наступит.

Это была ненависть.

Чистая, холодная, отточенная, как лезвие ножа, который я носил в рукаве, спрятанным в специально сшитом потайном кармане, и к которому мои пальцы тянулись сейчас с почти неодолимой силой. Ненависть, которая копилась во мне годами, которая росла и крепла с каждым днем, проведенным в этом доме, с каждым унижением, с каждым оскорблением, с каждой несправедливостью, свидетелем которой мне довелось стать. Ненависть, которая была единственным, что у меня оставалось, единственным, что не смогли отнять у меня эти люди, — потому что они даже не подозревали о её существовании.

Леди Изабелла снова потребовала вина, и я подошел к ней той самой бесшумной, скользкой походкой, которой вышколенные слуги передвигаются по бальным залам, и налил в её бокал ровно две трети, как того требовали правила, и поставил бутылку обратно на поднос с той небрежной грацией, которая дается только годами практики. Она взяла бокал, сделала глоток, и её губы снова растянулись в той самой улыбке, за которой прятался кинжал, той самой улыбке, которая была страшнее любого оскала, потому что в ней не было ни капли человеческого тепла.

— В этом доме, — сказала она кому-то из гостей, стоявшему рядом, и голос её звучал так, словно она говорила о чём-то само собой разумеющемся, о чём-то, что не требует ни обсуждения, ни оправдания, — порядок превыше всего. И те, кто нарушает порядок, должны знать, что их ждет.

Я молча отступил в тень колонны, растворившись в полумраке, и стал снова невидимкой, тенью, частью декора, каковой меня и должны были воспринимать все эти люди. Но внутри меня бушевала буря, и эта буря грозила в любой момент вырваться наружу, разорвать эту ливрею, эту маску, эту клетку, в которую я сам себя заключил.

Пахло гнилью. Сквозь ароматы духов, благовоний, жареного мяса и цветочных гирлянд я отчетливо чувствовал этот запах — запах разложения, запах морального и физического распада, запах смерти, которая незримо присутствовала в этом зале, в этом доме, в этом городе, в этом мире. И никакая позолота, никакое золото, никакие бриллианты и сапфиры не могли этого скрыть, не могли заглушить, не могли изгнать.

Однажды, — подумал я, глядя на её точеный профиль, на её безупречную кожу, на её холодные голубые глаза, в которых отражался свет свечей, но не было ни искры жизни, —

однажды я заставлю тебя заплатить за это. За Томаса. За всех, кого ты погубила. За всех, кто умер по твоей прихоти. И монета, которую я возьму с тебя, будет не из золота, а из твоей крови.

Но вслух я сказал только:

— Ещё вина, госпожа?

И голос мой был ровен, спокоен, услужлив, как и подобает голосу хорошо вышколенного слуги.

Моя вторая сущность ухмыльнулась во тьме моего сознания — та сущность, которую я скрывал от всех, та сущность, которая была настоящим мной, та сущность, которая ждала своего часа годами и была готова ждать ещё столько, сколько потребуется. Ей не терпелось выйти наружу. Ей не терпелось сбросить эту ливрею, эту маску, эту рабскую покорность, за которой скрывался совсем другой человек. Ей не терпелось начать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.